

**«Блудный сын» в книжной традиции переходного времени
(вторая половина XVII — первая треть XVIII в.):
преемственность и новизна**

Евангельская притча о блудном сыне (Лк. 15: 11–32) по праву считается одной из самых популярных, о чем свидетельствуют ее многочисленные интерпретации в разножанровых по своей природе произведениях мировой литературы. Для русской же литературы на протяжении всего ее исторического развития притча стала одной из художественных доминант, определившей поэтику ряда произведений как средневекового типа, так и литературы Нового времени. Причины устойчивого интереса авторов к евангельскому сюжету объясняются тем, что он в аллегорической форме утверждал «вечность, непреложность гармонии, долженствующей существовать в отношениях между человеком и Богом-творцом: искреннее покаяние возвращает человека к Богу, а милосердие Божие избавляет людей от самого страшного греха — греха отчаяния»¹.

Как неоднократно уже отмечалось, русская литература с момента ее появления неразрывно была связана с евангельским словом, определявшим ее характер и формировавшим мировоззрение книжника. Евангельский текст привнес в русскую культуру и определенный духовный идеал человека, нашедший словесное воплощение в притчевой форме, одной из которых является и притча о блудном сыне.

Переходный период русской литературы (вторая половина XVII — первая треть XVIII в.), как известно, демонстрирует несколько вариантов интерпретации названного евангельского сюжета, представленного в анонимных повестях второй половины XVII столетия, в пьесе Симеона Полоцкого («Комедия притчи о блудном сыне»), беллетристике петровского времени. В контексте евангельской традиции находится и творчество царя Алексея Михайловича, ряд эпистолярных сочинений которого органично вписывается в традицию осмысления евангельской притчи о блудном сыне в условиях литературы переходного времени. Как отмечает Н.С. Демкова, «мотив „блудного сына“ стал общим местом, литературным топосом в сочинениях русского средневековья в тех случаях, когда речь заходила об уклонении от общепринятой нравственной, социальной или конфессиональной позиции. Поэтому тема притчи, как правило, часто использовалась в об-

¹ Демкова Н.С. Евангельская притча о блудном сыне и ее русские интерпретации XVII века // Демкова Н.С. Средневековая русская литература. Поэтика, интерпретации, источники: Сб. ст. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1997. С. 139.

личительных текстах — полемике и в публицистике»². С этой позиции некоторые послания царя Алексея Михайловича демонстрируют авторское отношение к проблеме рассмотрения человеческой судьбы в современную для него эпоху. С точки зрения Алексея Михайловича как автора посланий, в которых он постоянно выступает в роли духовного наставника своих адресатов, не так страшно падение, как отказ от возможности принести покаяние в совершенном грехе, причиной которого стала гордыня: «Не люто есть вспотыкатца, люто есть вспуткнувся, не поднятца, или, угрязнувся, не умытца внутрь, не человекѣско есть вспотыкатца, и сами Ангели поколзнулися, а мняй ся стояти...»³

В монарших посланиях обращает на себя внимание использование устойчивого стилистического приема — введение в текст евангельского источника (чаще всего косвенное цитирование), с помощью которого составителю удается выразить главную мысль — царь есть помазанник Божий («сердце царево въ руцѣ Божіи»). Именно на царя («Богодарованного» и «Богоданного») возложена ответственность быть отцом и пастырем для своих подданных, вести их по пути духовного спасения. Долг подданных быть преданными царю, а значит, исполнять волю Бога, поступать по заветам Евангелия, нарушение которых неизменно приводит к заблуждению в своих помыслах и скитанию по миру, потере дома.

Показательным в этом отношении является послание от 14 марта 1660 г., адресованное дворянину А.Л. Ордину-Нащокину⁴. Причиной написания послания стало бегство в 1659 г. сына думного дворянина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина Воина в Польшу во время Русско-польской войны. Историки называют причиной побега Воина Нащокина именно желание увидеть мир, вырваться за пределы дома своего отца, обходившегося с ним строго и, по всей видимости, применявшего телесные наказания. Польша, Австрия, Франция, Голландия, Дания — страны, которые становились временным приютом Воина, прежде чем он в 1665 г. получит разрешение Алексея Михайловича вернуться в Россию. Таков реальный биографический сюжет истории блудного сына — Воина Ордина-Нащокина. Свидетельством

² Демкова Н.С. Евангельская притча... С. 136.

³ Послание А.С. Матвееву от 23 января 1655 года // Записки Отделения русской и славянской археологии. СПб., 1861. Т. 2. С. 726.

⁴ РГАДА, ф. 96 (Сношения со Швецией), оп. 1, 1660 г., ед. хр. 2, л. 91–105. Далее текст цитируется по этой рукописи с указанием листов в скобках. Полный текст послания впервые был опубликован О.Е. Кошелевой в 1996 г. См.: Кошелева О.Е. Побег Воина // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М., 1997. С. 55–86.

его раскаяния в совершенном поступке станет послание 1661 г., адресованное Алексею Михайловичу, в котором он просит милости и разрешения вернуться на родину⁵. В контексте евангельской традиции данный поступок беглеца явится завершающей фазой сюжета о блудном сыне. В итоге реальный биографический сюжет фактически повторяет схему евангельской притчи и находит свое развитие в посланиях царя, адресованных главным участникам этого события: отцу и сыну Нащокиным.

Дружеское послание царя, адресованное А.Л. Ордину-Нащокину и по своей жанровой разновидности являющееся утешительным, в построении сюжета не пытается следовать традиционной притчевой схеме. Основой послания послужило Слово Василия Великого «О благодарении», к цитированию которого царь активно прибегает по мере развития сюжета. Время написания послания (14 марта 1660 г.) приходится на вторник второй недели Великого поста, когда читается упомянутое выше Слово Василия Великого. Вполне вероятно, что под влиянием особого дня царь не мог не написать утешительного послания своему любимому дипломату, обратившемуся к нему с просьбой об отставке.

Послание в первую очередь репрезентирует особенности мировоззрения его составителя, в основу которого заложено религиозное понимание природы произошедшего события, уже имеющего аналогию в христианской истории. В то же время рассмотрение послания в контексте притчевой традиции о блудном сыне позволяет выявить отличительные приемы, используемые автором при изображении и оценке события, имеющего аналогию в евангельском первоисточнике. Как известно, ключевой темой притчи о блудном сыне является тема радости, возникающая в финальном эпизоде встречи отца и сына: «В научении всем слушающим Христос и рассказывает эту притчу, содержащую основной смысл его учения, — необходимость искреннего прощения, ликования при покаянии грешника, возвращающегося к отцу»⁶. Как показывает дальнейшая история развития события, именно по этой схеме и завершилось скитание Воина Ордина-Нащокина: «блудный сын» был прощен.

В своей же «истории» блудного сына Алексей Михайлович смещает акцент на первый эпизод известного евангельского сюжета, усили-

⁵ РГАДА, ф. 96, оп. 2, 1661 г., ед. хр. 2, л. 123–124. Несмотря на отсутствие в письме подписи Воина, историки (например, О.Е. Кошелева) уверены в принадлежности покаянного послания именно Воину Нащокину. См.: *Кошелева О.Е.* Побег Воина.

⁶ *Демкова Н.С.* Евангельская притча... С. 139.

вая тему скорби родителей от потери единственного сына. Царь, утешая отца в горе, постигшем его, уверен в том, что сын, поскаитавшись по свету, обязательно возвратится в родной дом: «А он человек молодой, хошет создания владычня и творения рук Ево видеть на сем свете, яко же и птица летает семо и овамо и, полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает... воспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от Святого Духа во святой купели, он к вам вскоре возвратитца» (л. 103а–104).

Таким образом, начальный и финальный эпизоды одной сюжетной схемы блудного сына, но представленные в разных текстах, выстраивают единую картину переживаемых героем эмоций. Становится возможным увидеть развитие и изменение эмоционального мира героя от переживания горя до обретения радости от встречи с сыном в будущем: «Воистинно Бог с тобою есть и будет во веки и навеки, сию печаль той да обратит вам... в радость и утешит вас вскоре. А что будет и впрямь сын твой изменил, и мы, Великий Государь, его измену поставили ни во что, и конечно ведаем, что кроме твоея воли сотворил, и тебе злую печаль, а себе вечное поползновение учинил. И будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить в ведомство и в соглашение... ему» (л. 102).

Использование же в основной части послания значительных фрагментов из библейских источников позволяет Алексею Михайловичу более точно нарисовать психологических портрет отца и в то же время придает посланию не только утешительный, но и учительный характер. Приводимые примеры, взятые из торжественного Слова Василия Великого, должны стать показательным примером должного поведения адресата в непростой для него ситуации. Отец, потерявший сына, сам также должен найти в себе силы, чтобы вновь обрести веру, вступить на путь истины и исполнять свой долг перед царем: «Что же, по сетовании, творим ти воспрянути от печали, что от сына, и возложить печаль на волю Божию. А нежели в печаль впадати или воскочити яко еленю на источники водныя, тако и тебе, отставя печаль и вборзе управитися умныма отчима на заповеди Божии и со всяким благодарением уповати яко же и Василий Великий, еже благо есть на Господа уповати, нежели на се помышляти» (л. 95).

Печаль и уныние как греховные страсти сбивают человека с пути, отвергают его от Бога: «Почто в такую великую печаль и во уныние (токмо веруй и уповай!) чрезмерные вдал себя?» (л. 99а). Эта тема как раз и звучит в тех фрагментах, которые царь заимствуют из книжных источников и помещает в своем послании.

На библейских аллюзиях и символах построено и ответное послание царя⁷, адресованное «блудному сыну» — Воину. Царь принимает его покаяние («челобитье твое приняв, милостиво прощаем») и готов забыть поступок, принесший отцу страдания. В отличие от покаянного письма Воина, которое стилистически сдержанно и носит официальный характер, послание Алексея Михайловича, как и в случае с ответом Афанасию Ордину-Нащокину, метафорично. Ключевым символом становится образ дерева и ветви, отломанной от него: «Сего ради не смущайся, аще ветвь пала, но древо непоколебимо, корень бо есть водрузися на твердой земле. А за отдалением ветрозыблущия ветви не имей себя отрезана быти, и древа сим подпором нашего милостиваго обнадеяния подкрепляем буди»⁸.

Алексей Михайлович в эпистолярной ситуации с Воином Нащокиным и его отцом выходит за границы известной для древнерусской традиции дискурсивной практики — выражения отрицательного отношения к совершенному поступку, который не может быть оправдан. Общеизвестно, что беглец на Запад в русской традиции всегда воспринимался и оценивался как изменник и царю («помазаннику Божьему»), и самой православной вере. Напомним, что одним из ярких и показательных примеров в данном случае является эпистолярная полемика между Иваном Грозным и Андреем Курбским. Нельзя сказать, что во второй половине XVII в. в оценке поступка беглецов — «блудных сыновей» ситуация кардинально могла поменяться. Другой соотечественник Воина Ордина-Нащокина Григорий Котошихин, подьячий Посольского приказа, также бежавший через Польшу на Запад и сложивший свою голову на плахе в Стокгольме, не вызвал каких-либо сочувствующих реплик со стороны его современников.

В ситуации с Воином видим совершенно другой вариант, не характерный для традиции (и с позиции государственной власти, и, что еще более ценно, с позиции литературной). Алексей Михайлович и как правитель, и как писатель, осмысливающий и оценивающий произошедшее событие, своими действиями сам вписывается в евангельский сюжет в образе всепрощающего отца, принимающего раскаяние блудного сына.

История «блудного сына» XVII в. — Воина Нащокина в русской литературе переходного периода, как известно, найдет свое воплощение в беллетристических повестях, одной из которых является «Повесть о Фроле Скобееве». Можно предположить, что событие, слу-

⁷ Записки Отделения русской и славянской археологии. Т. 2. С. 768–769; РГАДА, ф. 27, ед. хр. 197, л. 3–4.

⁸ Записки Отделения русской и славянской археологии. С. 768.

чившееся в семье А.Л. Ордина-Нащокина в начале 60-х гг. XVII в., имело большой резонанс. Со временем оно могло приобрести легендарный, устно-поэтический характер, подвергнуться трансформации, став завязкой сюжета русской анонимной повести конца XVII столетия. Показательно, что события «Повести о Фроле Скобееве» происходят в новгородском уезде в доме стольника Ордина-Нащокина, у которого дочь Аннушка, соблазненная дворянином Фролом Скобеевым, совершает побег из отчего дома. Дальнейшее развитие сюжета русской повести конца XVII в. несет в себе признаки притчевого нарратива, причем не только со стороны сюжетной линии главного героя, но и со стороны второстепенного персонажа, каким и является «блудная дочь» Ордина-Нащокина, в конце повести вместе с Фролом Скобеевым получившая прощение отца и возвратившаяся в его дом. Так реальный историко-биографический сюжет, связанный с семьей А.Л. Ордина-Нащокина, осмысленный в переходный период русской культуры в традиции евангельской притчи, приобретает литературный характер, предлагая разные варианты осмысления притчевого архетипа уже в произведениях Нового времени.

Вполне резонно возникают вопросы: в чем заключается литературная оригинальность «царской» рецепции евангельского сюжета о блудном сыне и какую роль она играет в историко-литературном контексте эпохи переходного времени? Ответы на поставленные вопросы могут быть получены, если обратиться к идее М.М. Бахтина о жанре, «памяти жанра». Как известно, Бахтин не рассматривал литературный жанр только как некую отвердевшую художественную форму. Жанр — это «единица речевого общения»⁹, форма высказывания, обладающая свойством подвижности. Таким образом, каждая эпоха вырабатывает свои формы высказывания, как через усвоение уже сложившейся традиции, так и через привлечение новых, только складывающихся моделей культурной коммуникации. Послания Алексея Михайловича, рассмотренные нами, несут в себе память сакрального жанра, «языковую память», настраивая адресата на соответствующее переживание реальной ситуации. Вместе с тем они наглядно демонстрируют процесс трансформации сюжетного образца, став знаменательным явлением в литературе переходного времени, что, в свою очередь, в последующие периоды русской литературы привело к порождению новых «речевых высказываний» с использованием сюжетных элементов названной притчи.

В связи с этим обратимся к одному из известных памятников русской литературы XVII в. — анонимной «Повести о Горе-Злочастии»,

⁹ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 250–258.

занимающей одно из центральных мест в историко-литературной ситуации этого времени, «замыкающей собою круг произведений древнерусской литературы»¹⁰. Немаловажную роль играет в этом новое использование в памятнике библейских тем и мотивов, прежде всего притчи о блудном сыне.

Влияние средневековой книжной традиции на создание «Повести о Горе-Злочастии» в свое время отмечалось большинством ее исследователей (Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, В.В. Кусков и др.). При этом их характеристика авторской позиции в «Повести» была едина: автор пытается преодолеть старую традицию при изображении судьбы героя. В итоге герой предстает как представитель «нового времени», старающийся «порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью»¹¹. Конфликт повести интерпретировался как конфликт «отцов и детей». Отметим, что подобная точка зрения долгое время сохраняла свои позиции и была широко представлена в комментариях, сопровождавших «Повесть о Горе-Злочастии».

Среди множества существующих на сегодняшний день концепций прочтения и интерпретации повести подход, предложенный в свое время Н.С. Демковой, явился одним из первых, который акцентировал внимание на необходимости изучения источников памятника. С точки зрения исследователя, «в XVII в. начинается новое по существу и более сложное использование библейских источников. Библейские и евангельские тексты заново осмысляются и активно используются в строительстве новой культуры „переходного периода“, причем как „верхней“ — придворной — культуры, так и „нижней“, демократической: они становятся источниками сюжетов и для пьес придворного театра царя Алексея Михайловича, и одновременно источниками повестей, предназначенных для широкого круга горожан»¹².

Анонимный автор, принадлежа новому историческому времени второй половины XVII в., характеризующемуся динамикой, преодолением старых норм, создает произведение, демонстрирующее авторитетность и неоспоримость вечных ценностей, определяющих неизблемость человеческого бытия. Подобная ситуация, выходящая за сюжет произведения и раздвигающая текстовые границы повести, с одной стороны, вписывает произведение в контекст средневековой литературы, а с другой — уже придает онтологическое звучание пове-

¹⁰ *Охтеня С.А.* Идеино-художественное своеобразие «Повести о Горе-Злочастии» в ее отношении к книжной и фольклорной традициям Древней Руси: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Омск, 2002.

¹¹ *Кусков В.В.* История древнерусской литературы. М., 1989. С. 237.

¹² *Демкова Н.С.* Евангельская притча... С. 135.

ствовательной традиции, начинающей только оформляться в новых исторических условиях и открывающей для себя перспективы в литературе Нового времени.

Хочется сразу возразить по поводу утверждения исследователей, что наставления, получаемые в повести «молодцем» от своих родителей, «добрых людей», совсем лишены религиозного характера, отходят от заповедей Божьих. Главная их особенность, по мнению историков литературы, заключается в том, что в первую очередь они учат героя житейской мудрости: как и при помощи чего возможно достичь благополучия. Однако советы, внешне настроенные на жизненную прагматику, в своей основе ориентированы на евангельские заповеди: не лги, не прелюбодействуй, не укради, возлюби ближнего, почитай отца с матерью и др.

Еще, чадо, не давай очамъ воли,
не прельщайся, чадо, на добрых красных жень...

<...>

...не думай украсти, ограбити,
и обмануть, солгать,
и неправду учинить.

Не прельщайся, чадо, на злато и сребро,
не збирай богатства неправого,
не буди послух лжесвидѣтельству,
а зла не думай на отца и матерь.
и на всякого человѣка,
да и тебѣ покрывает Бог от всякого зла (30)¹³.

Как только герой отходит от христианской морали, он подвергается соблазну. Поэтому автор не мог допустить, чтобы совершенный грех остался безнаказанным. В связи с этим все несчастья, обрушивающиеся на молодца, являются следствием его грехопадения, наказанием за содеянное. Да и сам молодец причины своих бед видит в нарушении родительских советов:

...ослушался язъ отца своего и матери, —
благословление мнѣ от них миновалося;
господь богъ на меня разгнѣвался
и на мою бѣдность великия
многия скорби неисцѣльныя
и печали неутѣшныя... (32–33).

¹³ Цитирование повести приводится по изданию: Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. 1. М.: Худож. лит., 1988. С. 28–39. Страницы указываются в скобках после цитаты, курсив в цитатах наш.

С точки зрения автора, это и есть грех, за который следует расплачиваться: «И поделом молотцу». То есть основная цель повести оказывается заключена в том, чтобы показать правоту, неоспоримость вековых традиций, имеющих вербализацию в евангельском первоисточнике. При всем своем сочувственном отношении к герою автор заставляет его пройти через испытания, которые впоследствии укрепят молодца в понимании истинности заповедей, отвергнутых им в начале своего самостоятельного пути. Опираясь на опыт предшествующих поколений, автор делает ряд выводов, например:

*А всегда гнило слово похвалное,
похвала живеть челоуѣку пагуба (34).*

Таким образом, автор на протяжении всего повествования подчеркивает преимущество проверенных временем устоявшихся норм бытия, образа жизни, которые заключаются в «прямом смирении», и здесь же одновременно звучит осуждение попытки молодца жить своим умом.

Нельзя не согласиться с тем утверждением исследователей, что в литературе XVII в. появляется новое представление о судьбе человека — индивидуальной, не зависящей от судьбы рода. Однако в «Повести о Горе-Злочастии» «родовое» начало постоянно доминирует над индивидуальным, личностным. Доказательством тому служит зачин повести, где автор показывает читателю, к чему может привести нарушение «заповеди законной», за что

*господь богъ разгнѣвался,
положил ихъ в напасти великия,
попустилъ на них скорби великия
и срамные позоры немѣрныя,
безживотие злое, сопостатныя находы,
злую немѣрную наготу и босоту,
и безконечную нищету и недостатки послѣдние (29).*

Из этого можно сделать вывод, что непокорность, нарушение «заповѣди божественну» изначально осуждаются автором и оцениваются как недолжное поведение. Весь дальнейший рассказ о судьбе молодца является подтверждением идеи, высказанной в зачине.

Как отмечалось выше, в исследовательской литературе, посвященной изучению этого памятника, акцентируется стремление молодца «жити, как ему любо», найти свою судьбу. Тем не менее даже при всей, казалось бы, обрушившейся на него свободе, герой остается связанным с судьбой предшествующих поколений. Молодец пытается жить по советам «добрых людей», т.е. опирается на опыт старших,

руководствуется судьбой своих предков. И эта связь молодца с судьбой рода не прерывается на протяжении всего повествования. После первых своих неудач герой возвращается к исходной ситуации, старается придерживаться законов, установленных Богом:

Учинил богъ заповѣдь законную:
велѣлъ он бракам и женитбам быть (28).

Молодец в дальнейшем старается поступать согласно этим заповедям:

и учаль он жити умѣючи.
от великаго разума
наживал он живота болши старова,
присмотрел невѣсту себѣ по обычаю —
захотѣлося молотцу жениться (33).

Пока герой соблюдает заповеди рода, Горе-Злочастье его не может одолеть. Лишь после того, как молодец нарушает семейный закон (отказывается от женитьбы и отпадает от человеческого рода, отделяется от него), он оказывается беззащитным перед лицом Гора-Злочастья. Но герой постоянно помнит о своей принадлежности к роду даже в те моменты, когда он напрочь оторван от родного очага:

Стало срамно молотцу появиться
к своему отцу и матери
и к своему роду и племяни (31).

Кроме того, после неудавшейся попытки жить по своему усмотрению, после многочисленных приключений, странствований молодец одержим желанием вернуться в родительский дом: «И оттуду пошел молодец *на свою сторону*» (37).

Интересной представляется следующая деталь: даже само Горе говорит о своей принадлежности к роду:

Не одно я, Горе, еще *сродники*,
а *вся родня* наша добрая,
всѣ мы гладкие, умилныя,
а кто *в семью к нам* примѣшается,
ино тот *между нами* замучится,
такова у *нас* участь и лутчая (37–38).

Уход молодца в монастырь в финале повести (что, по сути, соответствует финальной фазе притчевого сюжета — возвращению в дом отца) как раз и показывает могущество родового, коллективного над

личностным. Покинув свою семью, герой вновь ее находит, но теперь уже в стенах монастыря. И в этом его поступке, по нашему мнению, автор показывает не попытку героя «отгородиться от жизни», а наоборот, желание воссоединиться с родом (с семьей, монастырской братией), приобщиться к вечному и незбылемому, встать на путь истинный.

Таким образом, вступление и финал повести оказываются тесно взаимосвязанными друг с другом. Начиная свое повествование с рассуждений о судьбе человеческого рода, автор уже в предисловии намечает тот путь, который затем проделает молодец. Автором упоминаются все последствия, обрушившиеся на человеческий род за совершенные прегрешения, и указывается истинный путь спасения:

...наказуя
и приводя нас на спасенный путь (29).

Иными словами, история человеческого рода, представленная в начале повести, есть проекция на судьбу молодца. Автор приводит героя к воссоединению с родом человеческим через его уход в монастырь. Эта фаза сюжета повести, на наш взгляд, имеет особую значимость для понимания авторской позиции. Уход молодца в монастырь в этом контексте прочитывается не как его поражение в попытке выстроить собственную линию жизни, а как воссоединение с родом человеческим, являющееся залогом спасения души.

Можно также утверждать, что финал истории молодца изначально предрешен и автор придерживается схемы, намеченной во вступлении. Интерпретируя евангельский сюжет притчи, он тем не менее не подвергает трансформации основную идею евангельского аполога: «...утверждает вечность, непреложность гармонии, долженствующей существовать в отношениях между человеком и Богом-творцом: искренне покаяние возвращает человека к Богу, а милосердие Божие избавляет людей от самого страшного греха — греха отчаяния»¹⁴.

Таким образом, анонимная беллетристическая повесть второй половины XVII в. оригинальна и необычна не только по своей форме. Ее оригинальность заключена в авторской модели построения самого текста, обладающего внутренней динамикой. Через отсутствие статичности автор на протяжении всего сюжета создает для своего героя ситуацию порога, перехода через какую-либо преграду, переступая которую он либо падает, либо вновь возвышается. Постоянное нахождение молодца между полюсами, его перемещение в пространстве жизни позволяет читателю сосредоточиваться не только на событийной стороне жизни молодца и Горя-Злочастия, но и наблюдать про-

¹⁴ Демкова Н. С. Евангельская притча... С. 139.

цесс внутреннего преобразования героя, усвоение и добровольное принятие им божественных заповедей. Здесь еще раз можно повторить мысль, высказанную ранее: значение повести как раз заключается в том, что она выходит за рамки традиционного средневекового понимания типологии персонажа, основанной на дуалистической концепции (святой — грешник). Автор, используя традиционный бинарный прием построения системы персонажей повести (Молодец — Горе-Злочастье), тем не менее сосредоточивается на ситуации личного выбора героя, что является уже свойством литературы Нового времени.

В связи с этим приобретает совершенно новый аспект и проблема рассмотрения жанрового своеобразия «Повести о Горе-Злочасти». Ранее (в XIX–XX вв.) уже были высказаны на этот счет несколько точек зрения, демонстрирующих сложность ее жанровой природы. Однако каждая из них выделяла только одну какую-либо черту жанрового своеобразия памятника: фольклорность (сказка, песня, былина, духовный стих и т.д.), притчевая иносказательность, сатира и др. Хотя, взятые вместе, они демонстрируют новое представление о целостности произведения, на что обратил внимание В.В. Лепяхин: «Повесть является (так она и воспринимается) целостным произведением как по своему содержанию, так и по жанру»¹⁵, абсолютно соответствуя требованиям переходного времени. В ней выражено авторское представление о мире, его сложных и не поддающихся однозначному объяснению причинно-следственных отношениях.

Показательно, что подвижность текста «Повести» не является единственным литературным примером этого времени. Сам факт существования ряда анонимных произведений беллетристического характера «гибридного вида, который в условиях переходного времени для литературы уже не определяет стилистическую и сюжетную целостность произведения»¹⁶ в условиях складывающейся новой повествовательной традиции демонстрирует масштабы процесса секуляризации литературного творчества, получившего в XVII в. массовое распространение. И доказательством тому являются не только анонимные повести второй половины XVII в., но и беллетристика первой трети XVIII столетия — «истории» петровского времени.

Петровское время не стало исключением в переработке архетипического сюжета о блудном сыне, создавая новые его варианты. Можно высказать предположение, что именно авторы петровского времени впервые предпринимают попытку переработки Евангелия. Начальным

¹⁵ Лепяхин В.В. Особенности композиции Повести о Горе-Злочасти // *Studia Slavica Savariensia*. 2007. С. 271–286.

¹⁶ Охтенъ С.А. Идеино-художественное своеобразие...

же звеном процесса осмысления евангельского сюжета¹⁷ в литературе Нового времени, по нашему мнению, можно по праву считать повести-«гистории» первых десятилетий петровского времени. Это «Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли»¹⁸ и «Гистория о храбром российском кавалере Александре и о любительницах его Тире и Элеоноре»¹⁹. В контексте нашей проблемы названные повести представляют интерес с той точки зрения, как авторы первой трети XVIII в. трансформируют в своих произведениях традиционную схему архетипического евангельского сюжета, создавая разные его вариации в пределах одной историко-литературной эпохи.

Обе повести одинаково изображают начало событий: сыновья знатного дворянского происхождения покидают родительский дом, получив отцовское благословение, что нарушает сюжетостроение евангельской притчи. Традиционного для сюжетной завязки притчи разрыва связи героя с родом здесь не происходит. Василий и Александр покидают дом, получив благословение, и поступают в новой исторической ситуации как воспитанные отроки своего времени, достойные славы своих отцов.

Таким образом, зачины двух «гисторий», на первый взгляд соответствующие начальной фазе сюжета притчи о блудном сыне, на самом деле уже позволяют говорить о его сущностной трансформации. Уход сына из дома не вызывает авторского осуждения, не осмысливается как совершение ошибочного поступка с греховной коннотацией в своей основе. Перед нами уже образ идеального молодого человека Петровской эпохи, соответствующий секуляризированным моральным

¹⁷ «Во множестве произведений мировой литературы мы встречаемся как с сюжетом блудного сына, явно или (чаще) не явно, воспроизводящим событийную канву притчи из Евангелия от Луки, так и с мотивом блудного сына, актуализирующим ту же притчу в читательском сознании без воспроизведения ее сюжета в тексте» (*Тюпа В.И., Ромодановская Е.К.* Словарь мотивов как научная проблема // *Материалы к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы»*. Вып. 1: От сюжета к мотиву / Под ред. В.И. Тюпы. Новосибирск, 1996. С. 5).

¹⁸ *Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли* // *Русская литература XVIII века* / Сост. Г.П. Макогоненко. Л., 1970. С. 50–58. В дальнейшем текст цитируется по приведенному изданию с указанием страниц в скобках.

¹⁹ *История о российском дворянине Александре* // *Бухаркин П.Е. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха*. СПб., 2009. С. 416–460. В дальнейшем текст цитируется по приведенному изданию с указанием страниц в скобках.

заповедям, изложенным в «Завете» времени Петра I — «Юности честное зеркало, или Показания к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» (1717).

Влияние идей петровского «Завета» в этом случае нельзя недооценивать. По сути, именно данный текст замещает собою евангельский, определяя характер мыслей, речей и поступков героев. И Василий, и Александр уже в начале ведут себя согласно новым дидактическим наставлениям, и их желание покинуть дом отца в контексте исторической эпохи Петра I вполне законно и не может быть осуждаемо.

Можно заметить единственное сохранение традиции евангельской притчи в «Истории о российском дворянине Александре» в сцене прощания родителей со своим отроком, который вместе с благословением получает и «2 колца золотые здрагоценными камени подзапрещениемъ, ежебы недля какоі страсти никому не отдават(ь)» (417). Данный фрагмент может быть прочитан как аллюзия на притчевую ситуацию ухода: «Отче! дай мне следующую мне часть имения. <...> По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно» (Лк. 15: 12–13). Александр впоследствии так же, как и герой притчи, нарушает родительский завет, предаваясь в городе Лиле веселию и растрачивая наследство («жил долгое время ввеликихъ забавахъ» (417)). Правда, в варианте «истории» данный эпизод претерпевает изменение благодаря привнесению в повесть любовно-авантюрного начала: Александр, прельщенный красотою пасторской дочери Элеоноры, отдает кольцо, обещая ей верность в любви.

Другой фазой архетипического сюжета о блудном сыне является пребывание героя в чужом мире и растрата им полученного наследства отца. Как известно, восприятие и оценка иного мира, противопоставленного миру родного дома, в художественной традиции неизменно несет в себе значение испытания героя, сопряженного с возможной потерей или гибелью. Для обеих повестей характерно расширение европейского пространства (Франция, Голландия, Англия, Австрия, Египет — это те топосы, в пределах которых происходят события «историй»). В евангельской традиции пребывание героя притчи в чужом мире приводит его к физическому и духовному оскудению, что подтверждается сценой вкушения пищи вместе со свиньями («и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему»). Однако герой должен пройти это испытание, поскольку оно дает ему возможность осмыслить свой грех и раскаяться в нем.

Повести петровского времени впервые в истории русской литературы изображают инокультурный мир Европы без отрицательной оценочности. Характерно, что и сама Россия, именуемая теперь как «Рос-

сийские Европии», в этом контексте также осмыслена уже как часть Европы. Поэтому в анонимных повестях первой трети XVIII в. переход героя из одного пространства в другое не может вызывать каких-либо негативных оценок его поступка со стороны автора. В этом конкретном случае повести петровского времени как нельзя лучше иллюстрируют появление и утверждение новой идеологии, в основе которой лежит и новая знаковая система, с новым оценочным ее наполнением. «„Отрицательные“ культурные поступки Петра I в своем большинстве преследуют одну цель — изменить оценочный смысл тех или других значимых для национального сознания явлений, т.е. культурных знаков. <...> ...Предпринимается жесткая попытка сменить отрицательную оценку положительной»²⁰. Поэтому изменение старой евангельской аксиологии становится особо заметно в тех эпизодах повестей, где Василий и Александр странствуют по Европе. В сюжетной схеме притчи о блудном сыне это условно выделяемая третья фаза. Однако «блудные сыновья» петровского времени, оказавшись в чужом мире, не стремятся к тому, чтобы его покинуть. Наоборот, чужая страна не вызывает какого-либо ощущения ее инородности для героев. Так, например, Василий Кориотский, оказавшись в Голландии, поступает на службу к купцу, который замещает собой образ реального отца, оказывает русскому моряку покровительство и «и зело возлюбил ево». В повести о кавалере Александре герой также более чем доволен миром, в который попадает по своей воле и страстно желанию: «Икакъ вблизиности достигъ юко его зрети красоту града оного допустило, товсемъ сердоцемъ возрадовался, якобы что ісвое получил... іжил долгое время ввеликихъ забавахъ такъ, что живущее во оном граде лилле, красоту лица іостроту ума его усмотря, между всеми приезжими ковалеры первинствомъ почтили» (417).

Нельзя не увидеть здесь инверсии евангельской традиции, ее переворачивания. «Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему» (Лк. 15: 14–16). Отрицательная оценочность последствий поступка, совершенного героем притчи, заменяется положительной коннотацией в повестях-«гисториях». Объяснение подобной трансформации архетипической евангельской сюжетной схемы следующее: та картина мира, которая создавалась в литературе начала XVIII в., включает в себе уже государственную идею и высшей ценностью для человека становится идея самого государства, заменившего собой об-

²⁰ Бухаркин П.Е. История русской литературы XVIII века. С. 45.

раз дома Небесного Отца, к которому и припадает блудный сын в финале притчи, прося у Него прощения.

Авторы Петровской эпохи радикально переосмысливают евангельскую историю о блудном сыне и в художественном повествовании создают новый образ героя своего времени, способного найти в себе силы бросить вызов судьбе и не жалеть о совершенном поступке — бегстве из родительского дома. В этом случае герои повестей петровского времени могут быть названы прототипами исторических персонажей эпохи первой трети XVIII в. — сыновей своего времени, совершивших бегство из дома и вернувшихся в него, но уже без покаяния — финального эпизода евангельской притчи. Наиболее заметно отступление от традиции и одновременно ее усложнение в финале «Истории о храбром российском кавалере Александре», в ситуации замещения погибшего героя (Александра) другим (Владимиром), который и принимает на себя функции возвратившегося в дом отца «блудного сына»: «...во отечество свое благополучно доиде; Александровым же родите(ле)м несчастье ево объявил, которые, по многим рыданием и плача Владимире, вместо Александра, наследником учинил(и)» (460).

Финал другой повести — «Истории о Василии Кориотском» написан в традиции средневековой поэтики, но одновременно с этим несет в себе и черты нового. С одной стороны, событийный ряд финала укладывается в привычную формулу: автор завершает повествование описанием женитьбы Василия на Ираклии, благословением этого брака в церкви. Последовавший за этим событием пир («и было великое веселие во всей Флоренции три недели») рифмуется с пиrom в притче о блудном сыне: «А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» (Лк. 15: 22–23). Однако здесь же происходит семантическое усложнение традиционной притчевой схемы. Герой не просто обретает большее и восстанавливает свое имя, пройдя испытания лишением, бедностью, но в итоге сам становится «Отцом Отечества» — королем Флоренции, в руках которого теперь находятся судьбы его подданных, и он вправе вершить над ними суд, как его предшественник — отец Ираклии: «Василий повеле адмирала пред войском цесарским вывезть и с живого кожу снять, а генералу цесарскому король Флоренский и Василий даша великие дары и всему войску цесарскому жалованье» (58).

Таким образом, анонимные повести петровского времени (энциклопедичные по своей художественной природе) подтверждают ранее сделанные выводы: многие древние сюжеты, к числу которых принад-

лежит и сюжет «блудный сын», способны видоизменяться в зависимости от нравственно-эстетических представлений определенной исторической эпохи. Эпоха первых десятилетий XVIII в. представила свое видение и понимание проблемы идеального героя своего времени в изменившихся историко-культурных обстоятельствах.